

# **КОНТИНЕНТ**

**Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал**

**65**

**1990**

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Стихи

*Публикация Юрия Болдырева*

Возможно, я нарушаю волю Бориса Абрамовича Слуцкого, передавая его стихи в зарубежное русское издание. Сам он не делал этого никогда. И к тем одному-двум случаям, когда стихи его все же оказывались в антологиях или иных изданиях, вышедших на Западе, отношения не имел: у кого угодно могли оказаться его ходившие по рукам в 60-е годы непечатные стихи. Впрочем, как и приписываемые ему. Так, недавно в «Русской мысли» Ольга Гриз, благосклонно откликаясь на его книгу «Стихи разных лет», попеняла мне (составителю), что я не включил в нее стихотворение «Поэты, побочные дети России» (на самом деле принадлежащее Герману Плисецкому) и «В рыбацком поселке у плеса...» (соответственно – Якову Акиму), а стихотворение «Двадцатые годы, когда все были...» воспроизвела с большими искажениями, естественно возникающими, когда текст многократно переписывается, перепечатывается или записывается с голоса любителями. Выверенных, авторизованных текстов Слуцкого за границей никогда не было. Почему?

Ведь как стало ясно сейчас, в его рабочих тетрадях копились и скопилось огромное количество стихотворений, которые он желал бы увидеть напечатанными и которые журнальными и издательскими редакциями отбрасывались незамедлительно, как только они туда попадали (Слуцкий, надо сказать, сам себя не цензурировал, оставляя это занятие соимму разного рода чиновников, получавших за то зарплату, и ставил в подборки и книги все, что писалось, – потому-то кое-что иногда и проскакивало). Можно ведь было собрать отборную книгу и тиснуть ее за границей – многие из его окружения так делали, да и его положение участника войны, признанного мастера позволяло надеяться на не слишком крутые оргвыводы. Однако этот вариант он никогда всерьез не рассматривал.



В один из самых черных дней своей жизни (может быть, в самый черный), когда он выступил на собрании московских писателей, созванном для предания анафеме получившего Нобелевскую премию Бориса Пастернака, Слуцкий, впрочем, не произнес ни одного лицемерного слова – только то, что действительно думал. Спешу тут же сказать, что ни этим, ни чем-либо другим он никогда себя не оправдывал – страшная вина была осознана тут же и, словно рана, кровоточила всегда: поручкой тому стихи, просквоженные этим осознанием, этой болью, этим самосудом, которые писались и вскоре, и пять, десять, пятнадцать лет спустя, и в самом конце творческого пути (он наступил на 9 лет раньше физического конца). Так вот, в тот черный день среди немногого – 15 строк – сказанного им было (этим, собственно, и начиналось его выступление): «Поэт обязан добиваться признания у своего народа... Поэт должен искать славы на родной земле...» Уверенность в этом сопровождала Слуцкого всегда. А кроме того, чего бы стоил весь его самосуд, если бы он, одной рукой бия себя в грудь, другой передавал свои стихи для опубликования на Западе?

Следующие поколения, в том числе и мое, полагаю, вольны и думать и поступать по-иному. Особенно сейчас, когда мы все сильнее ощущаем родственность, необходимость друг другу, слиянность двух русских литературных потоков, текущих по обе стороны госграницы. Особенно, если знаешь, что Слуцкий-то эту родственность и слиянность ощущал куда как давно: и читая юношей перед войной Бог весть откуда проникавшие в Союз эмигрантские стихи Ходасевича, Цветаевой, Эйснера, и глотая том за томом комплект «Современных записок», обнаруженный им после победы в поместье какого-то румынского графа, чья жена оказалась из русских эмигрантов, и много позже интересуясь современной эмигрантской литературой, среди авторов которой были его давние друзья, знакомые, коллеги: В. Некрасов, А. Галич, И. Бродский...

Так что пусть и стихи Бориса Слуцкого однажды хлебнут воздуха русского зарубежья. Ведь не исключено, что сейчас и он не стал бы возражать против такой возможности.

*Юрий Болдырев*

## *СЛЕПЦЫ*

Слепцы походкой осторожной  
Идут дорогой непреложной  
И не собьются ни на шаг.  
А я сбивался, ушибался  
И так порою ошибался,  
Что до сих пор звенит в ушах.

Слепорожденным и ослепшим,  
Невидящим, конечно, легче,  
Конечно, проще им, чем нам,  
Отягощенным с детства зреньем,  
Презреньем, иногда прозреньем.

Да, мы глядим по сторонам.  
Былым путям – не доверяем  
И новые пути торим,  
Об их ухабах говорим,  
Их повороты предваряем.

*Конец 40-х – начало 50-х*

\* \* \*

В эпоху НЭПа, в дни его разгара  
Я рос и вырос на краю базара.

Меня на мелочь медную обменивали,  
А я-то думал – на большие деньги.  
Меня обвешивали и обмеривали.  
И эти годы – никуда не денешь.

С волками жил я, притворялся волком.  
Им лапы жал, на улице раскланивался.  
Но если ошибался я, обманывался –  
Так ведь меня обманывали с толком.



Как музыка в базарном репродукторе,  
Я за грехи базара не ответчик.  
Душа, ветрами времени продутая,  
Жила в плену предзнаменований вещей.

### *НЕСМЕЛЫЙ*

Вытертое автобусной давкой лицо,  
вытертое трамвайной давкой пальто,  
зубы, съеденные столовской едой,  
глаза, обесцвеченные ежедневной бедой,  
ежедневным ожиданием чего-то, что  
должно непременно случиться  
с вытертым трамвайной давкой пальто,  
с глазами, уставшими светить и лучиться.

Он прав, в опасениях всечасных  
жизнь проведя:  
несчастья бросаются на несчастных.  
Они как псы и вроде дождя.  
Бедя до счастливого не доходит,  
она его стороною обходит,  
а если пойдет, то в сторонку свернет  
и несчастному шею свернет.

\* \* \*

От копеечной свечи Москва сгорела.  
За копеечную неуплату членских взносов  
Выбыть не хочу из снежной Галилеи,  
Из ее сугробов и заносов.

В Галилее бога распинают  
С каждым днем решительнее, злее,  
Но зато что-то такое знают  
Люди Галилси.

Не хочу – копейкою из дырки  
В прохудившемся карманке  
Выпасть  
                                из предрассветной дымки,  
Из просторов кашки и ромашки.

Я плачу все то, что наложили,  
Но смотрю невинными очами,  
Чтобы, как лишенца, не лишили  
Голоса  
                                меня  
  в большом молчаньи.

Все наложенные на меня налоги  
Я плачу за два часа до срока.  
Не придется уносить мне ноги  
Из отчества – его пророку.

Добровольных обществ  
  добровольный  
Член  
                                и займов истовый подписчик,  
Я – не недовольный.  
Я – довольный.  
Мне хватает воздуха и пищи.

На земле, под небом  
  мне хватает  
И земли, и неба голубого.  
Только сердце иногда хватает.  
Впрочем – как у каждого, любого.

## *РАЗНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ*

От имени коронного суда  
британского, а может быть, и шведского,  
для вынесенья приговора веского  
допрашивается русская беда.

Рассуживает сытость стародавняя,  
чьи корни – в толще лет,  
исконный недоед,  
который тоже перешел в предание.

Что меряете наш аршин  
на свой аршин, в метрической системе?  
А вы бы сами справились бы с теми,  
из несших свастику бронемашин?

Нет, только клином вышибают клин,  
а плетью обуха не перешибают.

Ведь бабы до сих пор перешивают  
из тех знамен со свастикой,  
гардин  
без свастики,  
из шинелей.

И до сих пор хмельные инвалиды  
кричат: «Кто восвал, тому налсй!  
Тот первый должен выпить без обиды».

## *НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ*

Еврейские беды услышались первыми.  
Их голоса звучали громчей,  
поскольку не обделили нервами  
евреев в эпоху дела врачей.



Потом без нервов, с зубами сжатыми,  
попер Чечни железный каркас.  
Е. выплескивали ушатами  
из Казахстана на Кавказ.

Потом медлительные калмыки,  
бедолаги и горемыки,  
из ссылки на родину, влачась в пыли,  
из пустоты в пустыню пошли.

А волжские немцы ждали долго,  
покуда их возвратят на Волгу,  
и, повздыхав, пошли черепицу  
обжигать  
и крыши стлать,  
поскольку им нечего торопиться.

Потом татары засыпали власть  
сначала мольбами, потом прошениями,  
потом пошел татарский крик,  
чтобы их не обошли решениями,  
чтобы вернули в Крым.

Все эти вопли, стоны, плачи  
в самый долгий ящик пряча,  
кладя под казенных столов сукно,  
буксует история давным-давно.

В нее, в историю, все меньше верят.  
Все меньше спроса на календари,  
а просто пьют, едят и серят  
от зари до зари.



## *ЗАДУМЫВАЯСЬ О ВЕЧНОСТИ*

Задумываются о вечности,  
точнее сказать, о том,  
что же будет потом?  
Какую квартиру в вечности,  
какую площадь получат  
и как получить лучше?

Но эти еще не худшие,  
оглядывающиеся вперед  
и думающие, чья берет,  
и зло побеждает,  
добро ли,  
и выбрать какие роли.

Ведь есть такие, что думают  
о чем-то вроде угла,  
где духота и мгла.  
Их вечность непроветрена  
и даже антисанитарна  
и до того бездарна,

что обаятельней даже  
лозунг: «Хоть день, да мой!»  
И спяну бредя домой,  
они счастливо думают,  
что хоть денек урвали:  
потом поминай как звали!

\* \* \*

Еще отыщется изящество,  
отъехавшее в эмиграцию,  
и прежней удали казачества.  
Еще придется разобратся.

И все хорошее, заросшее  
быльем,  
    пробьется сквозь былье.  
Все, заметенное порошею  
времен,  
    возобновит житье.

### *ДРАКА*

Инвалиды костылями  
бились около метро:  
костерили, костыляли  
бойко, злобно и хитро.

По одной руке на брата,  
по усталой, по больной,  
перебить друг друга рады,  
чтоб не стало ни одной.

Ноги бы передробили,  
перебили черепа!  
Возле этой самой были  
молча сгрудилась толпа.

Пар, как будто дым сраженья,  
из дверей метро валил.  
Признавая поражение,  
старший инвалид – завыл.

На асфальт сморкаясь кровью;  
утираясь рукавом,  
тихо был он,  
громко кроя  
поединок роковой.

Выл, пока его обидчик  
ковылял не торопясь,  
голову устало сбывчив,  
костылем тараня грязь.

### *БОСТОН*

Допускаю, судьба занесет в Нью-Йорк,  
занесла же когда-то в Москву!  
Но Бостон исключен и бостонский восторг  
никогда не переживу.

Он останется в книгах, в толстущих томах  
и на тонких гравюрных листах.  
Никогда не узнаю бостонский размах  
и бостонский томительный страх.

Во второй половине земного пути  
надо дух перевести –  
хочешь, театр посети и друзей навести.  
До Бостона уже не дойти.

Не дойти, не доехать, не долететь,  
приз не взять, банк не сорвать.  
Ты уловлен в какую-то старую сеть,  
ячей – не разорвать.

Между тем в небоскребе бостонском – окно.  
лампы свет и блокнот на столе  
и бостонский поэт, осознавший давно,  
как разорвано все на земле.



## *УРОДЫ*

Домье рисует свое дамье –  
блядищ девятнадцатого столетия.  
Величье будущее свое  
рисует до полного утоленья.

Домье рисует жадных старух  
в сопровождении пошлых старцев.  
Он продуктивен, будто сторук.  
А что, если вправду сторук? Может статья.

И крив и кос человеческий род,  
иного же у Домье не случается.  
Когда получается лучший урод,  
Домье кричит: – Урод получается!

А девушки, в майском своем цвету,  
глядят в его глаз холодное олово,  
глядят в его бездну,  
в ее высоту,  
задрив на беззвездное небо головы.

## *ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ*

Общепринятому переча,  
не жалея на это сил,  
передвинутое в просторечьи  
ударенье  
я восстановил.

Вроде сделано так немного –  
не мудрец я и не герой:  
перетаскивал с первого слога  
ударенье  
на слог второй.

Это вам не разделы Польши,  
не таможенный вам тариф!  
Рифм мужских на одну стало больше,  
На одну меньше  
женских рифм.

Все же Пушкин узнает слово  
то, что прежде не узнавал.  
Восстанавливается основа,  
разгребается  
праха навал.

На участке стрелкового взвода  
торжествуют  
добро и свобода.

### *ОБРЫВОК ЦЕПИ*

Оторвавшись от жизни,  
сорвавшись с цепи –  
все потеряно, кончено, бито –  
одинокую гуляю, как ветер в степи,  
выхожу на чужую орбиту.

А за мною, как тень,  
тянется целый день  
осторожная, ржавая, резкая звень  
и на всех буераках, обрывах,  
на неровностях местности здешней, степной,  
знать дает о себе  
проходящий со мной  
тот стальной и звенящий обрывок.

И неволю и волю,  
и мир и тюрьму  
в диком поле  
вызванивать надо ему:  
их противоположность в единстве,  
их взаимная ненависть,  
тесная связь –  
всё,  
единожды накрепко установясь,  
небольшому обрывку годится.

\* \* \*

Умирают в своей постели!  
И на этом вечном пределе  
унижают в последний раз  
столько раз униженных нас.

Не наплакавшись, не на плахе,  
а с удобствами и в тепле,  
нас оставив в крови и прахе,  
завершают свой путь на земле.

И подписывая некрологи,  
курим ладан, льем слей,  
понимая, что эти налоги  
тоже надо платить скорей.

\* \* \*

Арьергардные бои –  
все, что нам осталось,  
и у каждого – свои,  
собственная старость.



Общая у нас черта:  
убывают кадры  
и подводится черта.  
Крышка арьергарду.

Прядь седая у виска:  
тучи небо кроют.  
Арьергардные войска  
молодежь прикроют.

Платим до конца платеж  
в том сраженьи тихом.  
Арьергарды, молодежь,  
помянешь ли? лихом?

Лучше лихо помяни,  
то, что мы забыли.  
Помяни и извини:  
уж какие были.

\* \* \*

Под небом голубоватым,  
где серенький вьется дымок,  
где каждый местный атом  
признать бы в лицо ты мог –  
именно здесь ты здешний,  
ты местный в этих местах,  
под старенькою скворешней  
ты в птичьих делах мастак,  
земляк вот этой землицы,  
а не далеких планет,  
и всё – знакомые лица,  
а незнакомых – нет,

да, вовсе нет незнакомых –  
не девери, так зятья,  
и в здешних жестких законах  
имеется строчка твоя,  
и в здешних протяжных песнях  
имеется строчка твоя,  
и здешних вестей ты вестник,  
и все вы – одна семья,  
и все вы – одна компания  
по части хмельного вранья,  
и в здешнем самокопании  
есть и лопата твоя.

\* \* \*

Вот она, отныне святая  
пустота,  
как прежде – пустая,  
полая, как гнилой орех,  
но святая – почти для всех.

Принимаю без всякой тревоги  
и терпеть без претензий готов,  
что на шеях куриные боги  
вместо тех человеческих крестов.

Эти мелкие дыры сквозные,  
эти символы пустоты  
и сменили, и заменили  
все, что людям несли кресты.

Хоть они и пусты и наги,  
в них все символы смены вех –  
тоже знаменья, тоже знаки,  
выражают тоже свой век.

И лежат они на загарах,  
и висят они на шнуре,  
как блестели кресты на соборах,  
золотели на заре.

Перепробовав все на свете,  
мы невиннее, чем слеза.  
Снова мы, как малые дети,  
начинаем с начала, с аза.

Комья глины на крышку гроба валя  
(ноне старым богам – не житье),  
пустоту мы еще не пробовали.  
Что ж! Попробуем и ее.



## ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

Он родился в Уфе, вырос в Ленинграде, стал писателем и умер в Нью-Йорке.

Он один из первых написал нам в Германию в 1983 году большое письмо, и с тех пор мы переписывались. А встретились мы в Вене в 1987 году на международном писательском форуме. Приводимая мной записка Сергея Донатовича – ответ на мою, о том, что одного из участников этого форума, молодого и талантливого писателя, вечером «забыли» взять с собой на одно из свободных мероприятий.

«Милая Наташа! Мне кажется, ничего драматического не произошло, хотя, надо сказать, известная сословность в ходе таких конференций действительно проявляется. Короче, виновные будут расстреляны. Литература продолжается!!! Ваш рыцарь Довлатян».

Да, литература продолжается, но уже без Сергея Довлатова, писателя, который никогда не умел писать о том, чего не видел, не пережил сам. Стиль его – современный, близкий к разговорному, ироничный – принадлежит только ему одному: верный слепок личности автора. Хотя и писал он о так называемой «чернухе», его вещи странным образом внушают читателю заразительное чувство жизнерадостности, безунывности, надежды.

«Истинное остроумие куда ближе к добродушию, чем мы предполагаем». Эти слова Шеридана как нельзя лучше характеризуют природу юмора Довлатова.

Литература продолжается. Возвращаются на родину его произведения. Сам он уже никогда не вернется в свой Питер.

*Наталья Кузнецова*

**Редакция журнала «Континент» выражает глубокое соболезнование родным и близким ушедшего от нас писателя.**